

Л. С. Выготский.

Не совсем рецензии

„Дети солнца“

Это из тех драм Горького, которые безнадежно сланы в архив литературы и сцены. Громадная тема—о прекраснодушной интеллигенции, самовлюбленных профессорах и художниках, мнящих себя детьми солнца, но сметаемых темпой и бессмысленной яростью озлобленного и тупого „чарода“. Но все это показано сквозь такую узенькую щель семейной благополучной драмы, избивающего жену дворника и холерных бунтов, что после обнажившихся в наши дни громадных разрезов этой темы, она кажется и детской, и пыльной зарзой. Ныне первая ступень могла бы рассказать такого, что горьковские персонажи испугались бы.

Но—двойная неудача!—и эта узенькая щель, сквозь которую можно было приблизить драму к зрителю в январе 1923, оказалась в постановке законопаченной наглухо. „Народ“ оказался скормленным эпизодом, интеллигенция исполнила свои амбула, а не роли и была далека от темы.

Только в безумной тревоге Лизы (Радецкая), в ее голосе, предсказывавшем, не только смыслом текста, но и глухой интонацией, что народ сметет всех этих „детей солнца“, было кое-что от темы. Но она в дальнейшем уточила в мелодраматизации, в белом платье и распущенных волосах театральной Офелии эту жалкую крупницу.

Вот профессор—Шейн. Кроме некоторой светливости, бесконечного, падедливового злоупотребления жестом, поправляющим огня, измеляющим роль, сыграл смело и забавно, но так добродушно, как дянька в водевиле. А ведь потомок этого профессора попал в «12» Блока: «длинные волосы и говорит вполголоса, предатели, пропала Россия» и т. д.

Москвич (Чепурной) прямо призван играть эту изблюбленную горьковскую фигуру: циник, вульгарные манеры, почти всегда Хохол, несносный красный галстук и тончайшая, застенчивая, педоговоренная телогта любви и неудачи. Кто-бы ожидал, что этот холодный артист с таким благородством, сдержанностью и сочностью сыграет затасанную душнвность, огромную мужскую нежность, замкнутую и возвышенную стыдливость страдания. Что-то было в нем и от певчего в «Мещанах». И то, и другое—прекрасные куски театра.

Ельвин создал хороший характерный эпизод из Трошина; Каменская повторила уже всеми виденный много раз образ старой няньки—еще до Чехова еоздался этот шаблон; Тверской, артист хороший, о котором еще надо писать, не свое делает дело в роли Вгора, кроме роста и злодейского грима «стиль рое», его ничто не выдвигало на эту роль; А. Васильева (жена профессора) наивную простушку создала из своей роли, просто милую—оригинально, неожиданно и хорошо.

Запоздалые отзывы.

В свое время на премьеры отозваться не мог. Газетное правило в таких случаях—лучше никогда, чем поздно. Но есть такое в пропущенных мной спектаклях, о чем надо сказать:

«Братья Карамазовы» и «Дети Ванюшина» точные границы, отделяющие вероятное от невозможного для нашего театра. Найденов—это вполне им возможное. Пьеса поте-

рла всякую свою остроту. Почти фотографическое изображение быта и жизни провинциальной купеческой семьи с газетным ударением на современных богдато темах: гимназисты, имслющие любовниц, дети в разладе со стариками.

Но какой хороший спектакль. Гранс понировать пьесу на театр, перевести текст на язык сцены удалось вполне. У нас обычно не пишут в программах и афишах ни имени автора, ни чья постановка. И играют так, что не узнаешь—Гоголя играли или Ге, Москвич ставил или Золотарев. Стиль не наша забота. Но здесь все знали стиль и манеры его. Была общая игра.

В Москвине (отец) не было, правда, драматического перелома между первыми и последними актами, падаома; по какам неожданная теплота—незамеченная, у сердца в воде, тлеет она ницая, кроцкая. И ей в тон—теплота Каменской (мать). Даже гимназистки (Е. Васильева и Гузовская), хотя и слишком усердно ницами, но были в той же подогретой жалостливости, что и все.

У нас горничная (попроще) непременно только и делает, что утирает рукой нос, девочка—пинит и прыгает,—вспениую прилету сыграть четко.

Шо чудесная пара Радецкий и Долгов (Клавдия с мужем). Он—карикатурный, острый, в изломах. Она—не просто некрасивая, но цаететическая, потрясающая некрасота. Рисунок роли—матовый, одитонный, без красок, контрастов—всего пять—шесть линий, но изысканный, острый, нащипанный—так Анненков рисует свои портреты. В этой жадной, некрасивой и злой душе светилась холодный светом обиды. Кто-то сказал, что Савина играла зло. Радецкая тоже играет зло. Нет того привлекательного эстетизма, приятной красоты. Немцы давно прозвали это эстетикой безобразного, поэзией некрасоты. Беспощадная и неумолимая, как правда жизни, она не положила ни одной розовой черты на Клавдию, но заставляла уважать ее, не смеяться. Прекрасный театральный гротеск, выдраный иглой на металле. Эта характерная роль особняком стоит в том, что играет обычно эта артистка, но отзывки ее есть и в других ролях. Играть так грязь и низость, чтоб заставить зрителя спросить себя: что если грязь и низость только мука по где то там сияющей красе; заставить чтить речей холодную циникуту, и узкий лоб, и некрасоту—как знака обиды,—для этого много надо. Общее впечатление такой игры—слова, хора в одной драме, заключающие ее:

Не надо слез, но песен и цветов

Не надо тоже. Молча на вершины

Взойдем. И тихо. Человека мучат.

А вот Достоевский не по мерке. Если скинуть даже со счетов ужасную, обесмысливающую переделку, превращающую братьев Карамазовых—в клубок разговоров, полных и отрывочных миниатур,—то и то останется безрадостный итог от исполнения. Для чего Лызов ставил эту пьесу в свой бенефис? Комик—что он сделал из Смердякова, при одном имени которого губы не могут сложиться в улыбку, и натягиваются в гримасу страдания.

Шефтель, для бенефиса которого пил Ванюшина, играл гимназиста искренно и просто, и трогательно даже, но и это актер менее всего нашедший себя в этой роли. Актеры бывают иногда больше своего исполнения.